

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОШЛЫЙ СВЕТ

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЭРЕНБУРГА

Гении – самые пристрастные и субъективные люди на земле, но именно их приговоры чаще всего становятся окончательными. «Циник не может быть поэтом», – если бы эти слова Марины Цветаевой относились исключительно к сущности поэзии, их вполне стоило бы высечь на мраморе, ибо поэзия предполагает взгляд на жизнь как на нечто высокое, и сколько бы поэт ни бичевал ее, сколько бы ни выворачивал ее язвы и мерзости, он остается поэтом лишь до тех пор, пока каким-то образом дает понять, что его горечь и отвращение порождены обидой за поруганный идеал. Однако цветаевский афоризм относился к вполне конкретному литератору Илье Эренбургу, который до конца своих дней желал считать себя поэтом и мог в этой своей мечте утешиться не только серьезными отзывами Брюсова и Волошина, но и чеканной телеграммой Анны Ахматовой: «Строгого мыслителя, зоркого бытописателя, всегда поэта поздравляет сегодняшним днем его современница Анна Ахматова».

Приблизительно в это же самое время вступившего в восьмой десяток «циника» распекал Никита Сергеевич Хрущев за то, что Эренбург полушутя предлагал распространить борьбу за мир на сферу культуры. Мы стоим на классовых позициях в искусстве и решительно выступаем против мирного сосуществования социалистической и буржуазной идеологий, а искусство относится к сфере идеологии, строго напоминал партийный вождь, возможно, не догадываясь, что главный советский плюралист мог бы похвастаться куда более давними и высокими партийными знакомствами, нежели он сам.

* * *

Дерзкий московский гимназист Эренбург и в самом деле упоминался в жандармском рапорте в одном ряду с такими будущими большевистскими тузами, как Бухарин и Сокольников, но, после положенных отсидок и высылки унесши ноги в канонический Париж, где он позволил себе вступить в репирательства с самим Лениным, социал-демократический Павел внезапно преобразился в декадентского Савла:

В одежде гордого сеньора
На сцену выхода я ждал,
Но по ошибке режиссера
На пять столетий опоздал.

Прямо-таки сам Александр Александрович Блок, правда, разбавленный в пропорции один эдак к двадцати:

Девушки печальные о Вашем царстве пели,
Замирая медленно в далеких алтарях...

Я помню, давно уже я уловил,
Что Вы среди нас неживая...

Сегодня я видел, как Ваши тяжелые слезы
Слетали и долго блестели на черных шелках...

И тем не менее, все сопутствующие поиски, блуждания, метания от религиозности и эстетства к неопрIMITивизму были все-таки странноваты для начинающего циника... Хотя кто их, циников, знает.

Сияли ризы неземные.
Стоял я в церкви, дик и груб.
Слова безумные и злые
Срывались с неутешных губ.

Заставляя плакать и навеки онеметь грустного белого ангела с изнемогающим челом.
Затем оплакивание ушедшего детства без малого в двадцать один год:

Детство, одуванчик нежный,
Перед жизнью шумной и мятежной
Ты осыпалось и отцвело.
Ты прошло!

Здесь уже не хватает лишь сознательной установки, чтобы почестся первым обериутом. В этом отношении и стихи о любви иной раз представляют собою истинные шедевры:

Ты пуглива, словно зайчик, —
Чей-то шорох услышала...
Ты не бойся!
В стеганое одеяло
С головой укройся!

Или:

Ты любила утром приходиться ко мне
И волосики любила на спине.
И над оспинкой родимое пятно, —
Ведь тебе же нравилось оно.

Для начинающего циника наивность тоже малоправдоподобная. Таковы же и его размышления о собственном еврействе:

Евреи, с вами жить не в силах,
Чуждаясь, ненавидя вас,
В скитаньях долгих и унылых
Я прихожу к вам всякий раз.
Во мне рождает изумленье
И ваша стойкость, и терпенье,
И необычная судьба,
Судьба скитальца и раба.
Отравлен я еврейской кровью
И где-то в сумрачной глуши
Моей блуждающей души
Я к вам таю любовь сыновью,
И в час уныний, в час скорбей,
Я чувствую, что я еврей!

Эренбург сделался интересным поэтом лишь тогда, когда (в направлении поисков, похоже, опередив самого Маяковского) дал волю не сентиментальности, а отвращению:

Тошнит от жира и от пота
От сотни мутных сальных глаз,
И как нечистая работа
Проходит этот душный час.
А нищие кричат до драки
Из-за окурков меж плевков

И, как паршивые собаки,
 Блуждают возле кабаков,
 Трясутся перед каждой лавкой
 И запах мяса их гнетет...
 Париж, обжора, ешь и чавкай,
 Набей получше свой живот
 И раствори в вонючей Сене
 Наследье полдня – блуд и лень,
 Остатки грязных испражнений
 И все, что ты вобрал за день.

Он и собой уже не умилялся:

Я пью и пью, в моем стакане
 Уж не абсент, а мутный гной.

И если чем-то рисовался, то разве что подчеркнутым нежеланием заботиться о своем внешнем виде. «С болезненным, плохо выбритым лицом, с большими, нависшими, неуловимо косящими глазами, отяжелевшими семитическими губами, с очень длинными и прямыми волосами, свисающими несуразными космами, в широкополой фетровой шляпе, стоящей торчком, как средневековый колпак, сгорбленный, с плечами и ногами, ввернутыми внутрь, в синей куртке, посыпанной пылью, перхотью и табачным пеплом», – таким увидел Эренбурга-монпарнасца Максимилиан Волошин в 1916 году.

В войне Эренбург-корреспондент тоже не желал видеть ничего красивого, поэтического, но – без этого невозможно и писать стихи о ней, ибо в поэзии ужас и отвращение непременно должны перемешиваться с восторгом – без этого просто нет поэзии. Поэтому его нашумевшие «Стихи о канунах» остались значительным явлением истории литературы, но в собственно поэзии не остались. «Сознательно избегая трафаретной красоты, И. Эренбург впадает в противоположную крайность, и его стихи не звучны, не напевны» (В. Брюсов). «В них меньше, чем надо, литературы, в них больше исповеди, чем можно принять от поэта» (М. Волошин).

Смелый эксперимент по-видимому показал, что поэзия без «красивости» и «литературы» невозможна, поэзия и брюзгливость несовместимы.

Однако первые же известия о «бархатной» весенней революции пробудили боевой дух бывшего подпольщика: Эренбург устремляется в Россию и проживает вместе с нею все ее окаянные дни, уже в ноябре Семнадцатого сложив первую «Молитву о России»:

Господи, пьяна, обнажена,
 Вот твоя великая страна!
 Захотела с тоски повеселиться,
 Загуляла, упала, в грязи и лежит.
 Говорят – «не жилища».

 О России
 Миром Господу помолимся.

«Молитвы» быстро сложились в целый сборник, полурасхваленный за искренность, полуобруганный за истерику и прозаизмы, но вызвавший острые столкновения мнений и не забытый даже через восемь лет как «один из самых ярких памятников контрреволюции нашей эпохи» (С. Родов). Хотя сегодня многие фрагменты этого памятника вполне могли бы использоваться коммунистической пропагандой, оплакивающей конец Советского Союза:

С севера, с юга народы кричали:
 «Рвите ее! Она мертва!»
 И тащили лохмотья с смердящего трупа.
 Кто? Украинцы, татары, латгальцы.
 Кто еще? Это под снегом ухает,
 Вырывая свой клоч, мордва.

Наконец после обычных в то героическое время приключений Эренбург (с советским паспортом в кармане) снова оказался за границей и, высланный из Франции, в бельгийском местечке Ля-Панн в течение одного летнего месяца 1921 года написал свой первый и лучший роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников». Роман был очень хорош как первое достижение в прозе и просто изумителен как обещание на будущее: Эренбург наконец-то нащупал главный свой талант – талант скепсиса, талант глумления над лицемерием и тупостью всех национальных и политических лагерей. Себя он тоже не пощадил – герой-рассказчик по имени Илья Эренбург, конечно, тоже не более чем карикатура, но... Но и не менее чем. Не всякий бы отважился живописать своего тезку и однофамильца, не гнушающегося и должностью кассира в публичном доме, такими, скажем, красками.

«Мне не свойственно мыслить возвышенно. С детства я горблюсь, на небо гляжу, лишь когда слышу треск самолета или когда колеблюсь, – надеть ли мне дождевик. В остальное время я гляжу под ноги, то есть на грязный, обшмыганный снег, на лужи, окурки, плевки». Угодив в немецкий лагерь (речь, напоминая, идет о Первой мировой войне), «я... скулил и всячески проклинал культуру, писал все, что писать русскому писателю при подобных обстоятельствах полагается: «Россия – Мессия, бес – воскрес, Русь – молюсь, смердящий – слаще»». Реальный Илья Эренбург устремился в Россию делать историю, а его персонаж Илья Эренбург в дни октябрьского переворота сидел в каморке, жевал холодную котлету и цитировал Тютчева: «Счастлив, кто посетил сей мир...». «Проклятые глаза, – косые, слепые или дальнозоркие, во всяком случае, нехорошие. Зачем видеть тридцать три правды, если от этого не можешь схватить, зажать в кулак одну, пусть куцую, но свою, родную?»

Похоже, патетическую часть своей личности Эренбург передал демоническому Учителю и Провокатору, а скептическую – Илье Эренбургу, «автору посредственных стихов, исписавшемуся журналисту, трусу, отступнику, мелкому ханже, пакостнику с идейными задумчивыми глазами». Менее циничный писатель наверняка поступил бы обратным образом. И самолично воспел бы индустриальное будущее, когда «Парфенон будет казаться жалкой детской игрушкой в столовых исполинских штатов. Пред мускулами водокачки застыдятся дряблые руки готических соборов. Простой уличный писсуар в величье бетона, в девственной чистоте стекла превзойдет пирамиду Хеопса». Но Эренбург-персонаж убежден, что если из двух слов «да» и «нет» потребуется оставить только одно, дело еврея держаться за «нет».

Это лучше всего удавалось и Эренбургу-художнику: «культурных» пошляков и лицемеров в своих первых романах он изображает с такой проникновенной ненавистью и даже некоторой живописной роскошью, что становится ясно: при всей своей международной известности и звании советского классика свой главный талант Эренбург зарыл-таки в землю. Он мог бы сделаться советским Свифтом, но эпоха требовала не издеваться над своими глупостями и мерзостями, а воспевать себя, к чему Эренбург был наименее приспособлен природой своего отнюдь не бытописательского дарования. Его героями были не индивиды, но идеи, мечты, типы, народы, социальные группы. Он, если угодно, был певец обобщений, что настрого воспрещалось в эру идеологически выдержанного неопередвижности.

Нет, Эренбургу и даже его однофамильцу был все-таки не чужд и пафос: «Только обросшие жиром сердца не поймут трогательного величия народа, прокричавшего в дождливую осеннюю ночь о приспевшем рае, с низведенными на землю звездами и потом занесенного метелью, умолкшего, героически жующего последнюю горсть зернышек, но не идущего к костру, у которого успел согреться не один апостол».

А в 1922 году в книжке «А все-таки она вертится!» (издательство «Геликон», Москва–Берлин) Эренбург в совершенно футуристическом и едва ли даже не фашистском духе воспел «конструкцию», волю и душевное здоровье, граничащее с кретинизмом («свежая струя идиотизма, влитая в головы читательниц Бергсона и Шестова»).

НОВОЕ ИСКУССТВО ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ИСКУССТВОМ.

«Кончены башни из слоновой кости. Вместо Парнаса – завод, вместо Ипокрены – литр «Пиколо» или кружка пива. Художник живет вместе с простыми смертными, их страстями и буднями».

«Стремление к организации, к ясности, к единому синтезу. Примитивизм, пристрастие к молодому, раннему, к целине. Общее против индивидуального. Закон против прихоти».

Новый дух — это дух

КОНСТРУКЦИИ.

Святая троица нового искусства —

ТРУД. ЯСНОСТЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ.

Современный человек любит не геммы или сонеты Петрарки, а ЗДОРОВЬЕ и ВЕСЕЛЬЕ. Прежнее искусство не организовывало жизнь, а украшало ее, довольствуясь ролью наркотика. Новый стиль создается лишь массовым производством. Наш конструктивный век не допускает торжества декоративной фантазии, потому что современная женщина, прежде всего РАБОТНИЦА, равно как и мужчина. Наставники современного писателя — детективщики, сценаристы, репортеры.

Смерть капиталистического либерализма кладет конец анархии и разброду и в искусстве тоже. Владыкой мира будет ТРУД.

* * *

По-видимому рядом не нашлось своего Войновича, который поинтересовался бы: мерин тоже работает — почему же он не сделался человеком? Впрочем, мир и сегодня не понимает, что человека создал не труд, но воображение, то самое, которое двадцатый век стремился вытеснить *действием*...

Сам же Эренбург в том же «Геликоне» (и почти сразу же в Харькове и в Москве) в 1923 году издал фантазмагорию «Трест Д.Е.» об уничтожении растленной Европы еще одним гениальным циником. Правда, из-за стилистической и пластической обедненности автор представал здесь не столько наследником Свифта или, тем более, Анатоля Франса, сколько предтечей Виктора Пелевина, — он не зря учился у сценаристов и репортеров.

Но зато уже в ближайшие годы в очерке о Веймаре он горько сетует на то, что «у нас не стало вдохновения». О «правых» и говорить нечего, но и «левые» — вот они: «вычисляют, думают, изготавливают декларации, отлучают еретиков, покрывают стены и сердца диаграммами, уравнениями, схемами, — и все это, чтобы дойти до псевдоконструктивного стула, до закрашенных одной краской досок, до пуговиц». И даже молодой «конструктивист», глядя на чудесный город, меланхолично вопрошает: «А мы вот, оставим ли мы после себя такой Веймар?» Или только этот виадук, мосты, вокзалы, фабрику Цейса, красоту, вдоволь сухую и эгоистичную, современного Фауста с его стандартизированной, а следовательно, и удешевленной душой...

Базаровское «да» миру-конвейеру ненадолго удержалось в душе главного советского еврея. О футуристических восторгах он весьма глумливо отозвался уже в эссе 1925 года «Романтизм наших дней»: несколько молодых людей, увидев американский автомобиль, стали от восторга прыгать, вопить и плеваться, подобно дикарям, пляшущим вокруг потерянного рассеянным миссионером клистира. Но по-настоящему культ пользы и гигиены расцвел среди голода и нищеты революционной разрухи: «Вместо традиционных муз поэтов стали посещать по ночам соблазнительные машины и даже сахарные головы... Мы мечтали о пустой по существу цивилизации, как мечтают пленники Уолл-стрит о девственных лесах». В голодной и раздетой Москве бритые спортсмены воспевали динамо и добротный драп, а в индустриальном Берлине растрепанные экспрессионисты вопили о рощах Индии, о любви зулусов и о человеческой душе.

Человеческая душа сложнее любого рационального идеала, ее невозможно насытить никакой фабричной продукцией, явственно давал понять «Романтизм наших дней». Особенно душу еврейскую, тут же добавил в «Романтизм» — «Ложку дегтя» несостоявшийся Свифт: «Я буду говорить сейчас о дегте, то есть о приливе еврейской крови в мировую литературу».

«Критицизм не программа. Это состояние. Народ, фабрикующий истины вот уже третье тысячелетие, всяческие истины — религиозные, социальные, философские... этот народ отнюдь не склонен верить в спасительность своих фабрикантов».

«Мир был поделен. На долю евреев досталась жажда. Лучшие виноделы, поставляющие человечеству романтиков, безумцев и юридивых, они сами не особенно-то ценят столь расхваливаемые ими лозы. Они предпочитают сухие губы и ясную голову.

При виде ребяческого фанатизма, начального благоговения еще не приглядевшихся к жизни племен усмешка кривит еврейские губы. Что касается глаз, то элегические глаза, классические глаза иудея, съеденные трахомой и фантазией, подымаются к жидкой лазури. Так рождается «романтическая ирония». Это не школа и не мировоззрение. Это самозащита, это вставные когти. Настоящих когтей давно нет, евреи давно стерли их, блуждая по всем шоссе мира».

«Всем известно, что евреи, несмотря на тщедушие, любят много ходить, даже бегать. Происходит это не от стремления к какой-либо цели, а от глубокой уверенности, что цели вовсе нет. Хороший моцион – и только. Как больные сыпняком, они хотят умереть на ходу. В конечном счете знаменитая легенда о Вечном жиде создана не христианской фантазией, а еврейскими икрами».

* * *

Все двадцатые Эренбург, подобно Вечному жиду, пропутешествовал по Европе, издавая сразу на многих языках книги превосходных очерков о королях автомобилей, спичек и грез (Голливуд), неизменно скептической интонацией давая понять, что пекутся все они о суете, – что было бы совершенно справедливо, если бы тому же скептическому кодексу подлежали тоже не вполне одетые короли Страны Советов. Но там, в стране восходящего солнца Беломорканала тревогу и брезгливость вызывает все больше «мелкособственническая накипь», изображенная в манере крепкой очеркистики. Правда, и большевики постоянно выглядят схематичными, хотя и честными болванами, слабо, тем не менее, воплощающими ЗДОРОВЬЕ и ВЕСЕЛЬЕ...

Тем не менее, книги Эренбурга неизменно оказывались в центре внимания «мировой общественности», немедленно переводились на европейские языки.

Будни великих строек Эренбург впервые по-настоящему воспел лишь в «Дне втором», вышедшем в Париже в год прихода Гитлера к власти и практически сразу же в «Худлите». Повесть тоже была немедленно переведена на все основные европейские языки и тоже оказалась в центре критической бучи, хотя в художественном отношении и она стояла на уровне хорошего очерка, – лирические же сцены лишь едва подавали признаки жизни (только сам библейский образ второго дня творения обладал определенной изысканностью). Но советскую критику интересовало другое: как он посмел писать о неразберихе и «трудностях». Эренбург, уже вполне освоивший приемы советской демагогии, отбрехивался в манере вполне достойной тех шавок, о которых с большим опережением когда-то высказался лорд Байрон: им велят лаять, а они норовят укусить.

«Гражданская совесть», терпеливо разъяснял Эренбург, не позволила бы ему описывать эти трудности, если бы Кузнецк был только планом, но когда создан не только Кузнецк, но и люди, которые его построили... Правда, в переплавку сгодился не весь человеческий материал – сложный мятущийся интеллигент Володя Сафонов покончил с собой. И не последнюю роль в его гибели сыграла культура, этот наркотик, на котором, как бы выразились сегодня, он «сторчался» (сам Володя употребляет слово «спился»). Вероятно, по той же причине окружающий его триумф воли представлялся ему торжеством примитивности, душевного младенчества.

Критика упрекала Эренбурга и в том, что он не дал колеблющемуся интеллектуалу равно сложного, но не знающего сомнений оппонента, однако не сделал он этого, скорее всего, только потому, что негде было взять: неколебимость всегда обеспечивается эмоциональной обедненностью. Имитация которой и самому Эренбургу досталась с огромным трудом.

Он и в тридцатые годы непрерывно колесил по Европе, подобно все тому же Вечному жиду, но пафос его очерковой публицистики и публицистической прозы становился все более простым и отчетливым: фашизм наступил и наступал, и Эренбург становился все менее и менее требовательным к тем, кто теоретически способен был его остановить. Как всякий эстет, сформировавшийся в благополучное время, когда о простом выживании задумываться не приходится, он долгое время ощущал главным врагом пошляка и ханжу, склонного «между двумя свинствами декламировать Шелли или Верлена». Но когда на историческую сцену вышли искренние убийцы, при слове «культура» не только хватающиеся за пистолет, но и стреляющие без всяких раздумий, Эренбург понял, что время капризов и парадоксов миновало, и принялся

верой и правдой служить тому, что представлялось ему наименьшим злом. Однако это не объясняет, почему он уцелел в 37-м, – верой и правдой служили многие. Конечно, он был очень полезен в качестве интеллигентного представителя варварской Совдепии, но такие соображения Сталина не останавливали. Рулетка, скорее всего. И все-таки ужасно хотелось бы узнать, что и на каких весах прикидывал Сталин, в 1942 году присуждая свою премию «Падению Парижа», роману, который и сейчас читается с большим интересом, а многие персонажи так даже и рельефны. Кроме положительных, разумеется.

После Двадцать второго июня голос Эренбурга звучит как колокол на башне вечевой. В ненависти и омерзении к захватчикам он едва ли не превосходит самого Симонова, – не в накале, но в глобализации. «Так убей фашиста», – писал Симонов, но Эренбург выражался гораздо более неpolitкорректно: «Убей немца». «Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово “немец” для нас самое страшное проклятье. Отныне слово “немец” разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал».

«Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей», – призывал Симонов, но Эренбург в интимной лирике говорит не об индивиде – о стране:

Будь ты проклята, страна разбоя,
 Чтоб погасло солнце над тобою,
 Чтоб с твоих полей ушли колосья,
 Чтобы крот, и тот тебя забросил.
 Чтоб сгорела ты и чтоб ослепла,
 Чтоб ты ползала на куче пепла...

Нет, надо перевести дыхание – если в Эренбурге и жил циник, то с первых же дней войны он был поглощен ветхозаветным пророком: утонченный релятивист наконец-то ухватил свою единственную, родную правду.

«Если дорог тебе твой дом», – таков был зачин знаменитого симоновского стихотворения, но Эренбург постоянно напоминал солдатам, что сражаются они не только за свой дом, но и за все человечество, за всю европейскую культуру: «Защищая родное село – Русский Брод, Успенку или Тарасовку, воины Красной Армии одновременно защищают “мыслящий тростник”, гений Пушкина, Шекспира, Гете, Гюго, Сервантеса, Данте, пламя Прометея, путь Галилея и Коперника, Ньютона и Дарвина, многообразие, глубину, полноту человека». И этот космополитизм, возвышавший читателя в его собственных глазах, сделал «сомнительного» Эренбурга любимцем и фронта, и тыла, в том числе и немецкого: в одной партизанской бригаде был издан специальный приказ, запрещавший пускать на самокрутки газеты со статьями Эренбурга. Он получал тысячи писем от фронтовиков и скрупулезнейшим образом отвечал на каждое.

Хотя он и написал однажды: «Мы ненавидим немцев не только за то, что они убивают беззащитных людей. Мы ненавидим немцев и за то, что мы должны их убивать», – но несмотря на все подобные оговорки, фашистской пропаганде не так уж трудно было сделать из Эренбурга еврейско-комиссарское чудовище (даже полузабытый «Трест Д.Е.» был объявлен практической программой лично Эренбурга), специально отмеченное даже в одном из приказов самого фюрера, поэтому со стороны товарища Сталина было довольно-таки неглупым ходом ради дополнительного ослабления полуразрушенной немецкой обороны в апреле сорок пятого публично одернуть Эренбурга в «Правде» устами тогдашнего начальника агитпропа Г. Ф. Александрова: «Товарищ Эренбург упрощает».

Утешением товарищу Эренбургу послужил резко возросший поток писем с фронта и трофейное охотничье ружье, когда-то поднесенное льежскими оружейниками консулу Бонапарту.

* * *

После войны – «борьба за мир», заграничные поездки, выступления, статьи, неизменно «отмеченные высокой культурой», насколько это было возможно, умные и даже во многом справедливые, если забыть, что разоружаться предлагалось лишь одной стороне. Однако и литературную работоспособность он сохранил фантастическую – уже в 1947 году «был удостоен» Сталинской премии его толстенный соцреалистический роман «Буря», в котором если что-то и «Зарубежные записки» №8/2006

было хорошее, то напоминание, что и за железным занавесом живут какие ни есть, но все-таки люди, а не те уроды с плаката «Поджигатель бомбой машет и грозит отчизне нашей – с нами он не справится, бомбою подавится!» Тысяча девятьсот пятьдесят второй год – год расстрела Еврейского антифашистского комитета – принес Эренбургу еще одну премию: Международную Ленинскую премию «За укрепление мира между народами».

Эренбург, судя по всему, был против любых еврейских объединений, хоть сколько-нибудь напоминающих гетто, полагая, надо думать, что если еврей не способен занять достойное место в индивидуальном состязании, то он и не стоит того, чтобы его защищать. Но когда после «дела врачей» в 1953 году над русским еврейством нависла опасность – ну, может быть, и не депортации, но, во всяком случае, перехода гонений на какой-то качественно новый уровень, Эренбург сумел приостановить руку «красного фараона», – которую тут же перехватила сама смерть.

Сигналом к атаке должна была послужить публикация в «Правде» некоего письма, подписанного всеми знатными советскими евреями. Смысл письма сводился к тому, что советская власть дала евреям все, а они платят за это черной неблагодарностью, сохраняя массовую приверженность буржуазному национализму...

Этим как бы оправдывались будущие действия власти, оправдывались, подчеркиваю, самой еврейской элитой. Но Эренбург в роковую минуту догадался сделать единственно верный ход – мгновенно настучал письмо Верховному Режиссеру: «Я считаю моим долгом поделиться с Вами моими сомнениями и попросить Вашего совета».

Знаменитый борец за мир между народами сумел найти безупречные идеологически, но при этом и убедительные прагматически дипломатические формулы, которых ему и по сей час не могут простить те сионисты за отрицание самого существования еврейской нации, ни благородные интеллигенты из самопровозглашенного министерства праведности за приятие языка советской пропаганды, – но дело было сделано: тысячи и тысячи судеб были спасены. Только об этом и беспокоился «цинник», лихорадочно подбирая идеологические штампы, чтобы обращаться к державцу полумира на его собственном языке.

«Мне кажется, что единственным радикальным решением еврейского вопроса в нашем социалистическом государстве является полная ассимиляция, слияние людей еврейского происхождения с народами, среди которых они живут, я боюсь, что выступление коллективное ряда деятелей советской русской культуры, объединенных только происхождением, может укрепить националистические тенденции. В тексте имеется определение “еврейский народ”, которое может ободрить тех советских граждан, которые еще не поняли, что еврейской нации нет.

Особенно я озабочен влиянием такого “Письма в редакцию” с точки зрения расширения и укрепления мирового движения за мир. Когда на различных комиссиях, пресс-конференциях ставился вопрос, почему в Советском Союзе больше нет школ на еврейском языке или газет, я неизменно отвечал, что после войны не осталось очагов бывшей “черты оседлости» и что новые поколения советских граждан еврейского происхождения не желают обособляться от народов, среди которых они живут. Опубликование письма, подписанного учеными, писателями, композиторами, которые говорят о некоторой общности советских евреев, может раздуть отвратительную антисоветскую пропаганду, которую ведут теперь сионисты, бундовцы и другие враги нашей Родины.

С точки зрения прогрессивных французов, итальянцев, англичан и т.д., нет понятия „еврей“ как представитель национальности, там “еврей” понятие религиозной принадлежности, и клеветники могут использовать “Письмо в редакцию” для своих низких целей».

Этот исторический документ стоит перечитать тогдашними глазами.

* * *

И затем уже братья за последний эпохальный труд Эренбурга «Люди, годы, жизнь» – как за старое, но грозное оружие. Эпитет «эпохальный» – не преувеличение. Воспоминания Эренбурга действительно составили эпоху в нашем постижении Двадцатого века, – в отличие, скажем, от «Оттепели», которая дала эпохе имя, но сама, по-видимому, мало кем была прочитана. По крайней мере, пишущий эти строки при всем своем бесконечном пиетете не смог осилить такую примерно стилистику, которой все советские писатели учились неизвестно даже у кого, но уж во всяком случае не у сценаристов и репортеров: «На заводе все относились к Коротееву с уважением.

Директор Иван Васильевич Журавлев недавно признался секретарю горкома, что без Коротеева выпуск станков для скоростного резания пришлось бы отложить на следующий квартал». Сейчас эта забытая манера вызывает у меня нечто вроде даже почтительного удивления: это ж надо так суметь после знакомства с Брюсовым и Волошиным, Андреем Белым и Цветаевой, Мандельштамом и Хемингуэем, Андре Жидом и Ахматовой, Бабелем и Мориаком...

Но я уже невольно пересказываю, за что мы все ухватились, когда с невидимыми авангардными и шумными арьергардными боями к нам, часть за частью, начали пробиваться люди и годы жизни Эренбурга.

С точки зрения властей там все было не так. Во-первых, слишком много всяких «формалистов», ради кого, собственно, мы и передавали из рук в руки сначала номера журнала, а затем и тома: Модильяни, Шагал, Матисс, Мейерхольд, – ведь о них же почти ничего невозможного было отыскать, особенно в провинции, так что Эренбург, можно сказать, первым ввел эти имена в широкий культурный оборот. Во-вторых же, что с партийной точки зрения было еще более недопустимым, Эренбург позволил себе сказать вслух, что сталинским репрессиям сопутствовал некий заговор молчания, все всё понимали, но придерживали язык за зубами. «Нет, это вы, циники, понимали, а мы, кристальные большевики, не понимали!» – восклицали партийные идеологи, предпочитавшие титул дурака клейму труса (хотя обычно им хорошо давались обе роли).

Сегодня трудно даже представить, насколько расширила хотя бы полудозволенную картину мира эта книга – она прорубила новое окно не только в Европу, но и в наше собственное непредсказуемое прошлое. Но – падение царящего над социальным мирозданием советского небосвода породило и новые претензии к ней: если прежде ее ругали за то, что в ней есть, то теперь начали ругать за то, чего в ней нет. И подлинно: Эренбург не покушался на невозможное, а потому очень многое действительно обошел. А что еще хуже – кое о чем высказался прямо-таки в лакировочном духе: последовательное профилактическое истребление людей и структур, способных хотя бы теоретически когда-нибудь сделаться очагами сопротивления, Эренбург уподобил фронтовой ошибке, когда артиллерия бьет по своим. Это у Сталина-то были свои!

Тем не менее, автор этих строк до сих пор испытывает неловкость оттого что, глотнув пьянящего воздуха свободы, и он однажды тоже не удержался от соблазна покрасоваться на фоне покачнувшегося кумира, печатно назвав «Люди, годы, жизнь» энциклопедией советского либерального западничества, – как будто тогда было возможно какое-то иное западничество!.. А ведь пишущий эти строки никогда не претендовал на праведность, тогда как различение возможного и невозможного считается низким лишь в министерстве праведности...

С точки зрения этого министерства еще менее красиво выглядит многолетняя служба Эренбурга в качестве представителя Страны Советов (СС) в интеллектуальных западных кругах: одного взгляда на этого лауреата и депутата, являющегося равноправным собеседником всех европейских знаменитостей, было достаточно, чтобы понять, что СС совершенно европейская страна и что слухи о тамошних притеснениях евреев не имеют под собой никакой почвы. И это правда: Эренбург сделал очень много для улучшения образа Советского Союза в глазах Запада. Но он сделал еще больше для улучшения образа Запада в глазах Советского Союза. Он и впрямь был символом какой-то иной цивилизации, обратив тем самым тысячи и тысячи умов сначала к культурному, а потом и социальному обновлению. Эренбург создал новую мечту, а именно творцы новых грез и есть тайные владыки мира.

* * *

Но может быть, его итоговая книга при всей ее огромной исторической роли уже отслужила свое, подобно отработанной ступени баллистической ракеты? Ведь едва ли не о каждом ее персонаже к сегодняшнему дню выпущено столько литературы, что проблемой становится скорее ее необозримость, чем нехватка: пустырь, на котором главный космополит когда-то высаживал первые робкие деревца, превратился в непроходимый лес (в котором, кстати сказать, едва ли не половина липы), – что, собственно, «Люди, годы, жизнь» могут дать сегодняшнему читателю?

Сегодняшнему читателю я бы посоветовал видеть в этой книге не только источник знаний, но и конспект колоссального романа. Попробуйте каждое дерево в этом лесу дорисовать и раскрасить собственным воображением, постаравшись взглянуть на него глазами юного социал-демократа, религиозного романтика, монпарнасского обормота (М.Волошин), глумливого скептика,

верного солдата, библейского пророка, искушенного царедворца, несломленного утописта, а может быть, и мудрого конфуцианца, полагающего, что лучше зажечь маленькую свечку, чем всю жизнь проклинать темноту. Попробуйте взглянуть десятком разных глаз на этих людей, эти годы, эту жизнь, и вы выйдете из книги с наброском гениальной эпопеи.

Тем более бесценной, что ей наверняка суждено остаться ненаписанной.